



Что?! В городе над Невой появился сквер Эйлера? Поздравляю бывших земляков, они несколько очеловечились. Эйлер был и навсегда останется вторым по историческому значению человеком, когда-либо жившим, работавшим и умершим в их городе с переменчивым именем. Первым, куда деваться, остаётся Пётр, основатель города и империи. Если же о культуре говорить, то и Пётр отступает в тень, отбрасываемую Эйлером. Город моей юности, в юности мой и мною любимый, был и остаётся для меня городом Эйлера. Пушкин, светоч несомненный, локален, за пределами русской ойкумены никому не нужен, Эйлер — всемирный, он лишь на полшага позади Аристотеля, Архимеда, Ньютона, — и без него, без им сделанного, человечество дня прожить не может.

Теперь, шутки в сторону, скажу о себе: не кто-нибудь, а я, и притом я один, твердил десятилетиями: город на Неве позорен без памятника Эйлеру. И — да, меня слышали; спустя десятилетия и нехотя, да слышали. Услышал один, сказал другому, пошёл слухок, шёпоток, обо мне забыли (что и слава богу), и в итоге молва докатилось до кого-то из тех, кто решения принимает. Утверждаю без обиняков: мой вклад в появлении сквера Эйлера — несомненен.

К слову, хоть и не к месту добавлю о другом. В самом начале 1990-х, когда у них там Совдепия кончилась, а Путляндия ещё не началась, когда на крохотную секунду Россией повеяло, я сказал в моей автобиографии, а потом повторял на все лады: «Я родился и вырос в городе, где университет назывался ЛГУ, а архив — ЛГАЛИ». И что? Меня и тут слышали. Ничуть не сомневаюсь, что архив был переименован из ЛГАЛИ в ЦГАЛИ по моей подсказке.

Побалую себя и другими подобными спекулятивными утверждениями. Не я ли в течение трёх десятилетий твердил и твержу устно и письменно, что сегодняшняя Россия — никакая не Россия ни в нравственном, ни умственном, ни в общественном, ни даже в географическом отношении? И вот, надо же, и это, наконец-то, слышали, правда, пока только в Киеве, но и то неплохо! Докатилась-таки моя истина до сознания некоторых людей. И опять — то же: добрые люди не ссылаются на меня, и я не в обиде, мне важно, чтобы правда восторжествовала, но это ведь факт: я первым в XX века сказал, что теперешняя Московия — не Россия. (Пер-

вое моё название этой поганой страны, в 2011 году мною произнесённое, было Путляндия, но теперь оно устарело. Теперь она — Московия имени Малюты Скуратова, Малюто-Скуратия.)

Это три пункта в списке, а вот и четвёртый, самый причудливый. Появился в двадцать первом веке музыкальный фестиваль в Тунисе под названием Autumn in Carthage (Осень в Карфагене). Казалось бы, причём тут я? Я ведь не музыкант. Но я тут очень причём. Эту формулу — Осень в Карфагене — во всём двадцатом веке на всех существующих языках первым и единственным произнёс я: моя студенческая поэма 1966 года называется *Осень в Карфагене*. И она, как вижу, не осталась без внимания! Что тут скажешь? Культуры перекликаются.

19.06.26



Перечитываю *Датскую легенду* Владимира Лифшица. Небольшое стихотворение, если убрать ненавистную мне коммерческую лесенку, всего двадцать строк:

Немцы заняли город без боя, легко, на бегу,  
И лишь горстка гвардейцев, свой пост у дворца не покинув,  
В черных шапках медвежьих открыла огонь по врагу  
Из нелепых своих, из старинных своих карабинов.

Копенгаген притих. Вздорожали продукты и газ.  
В обезлюдевший порт субмарины заходят во мраке.  
Отпечатан по форме и за ночь расклеен приказ  
Всем евреям надеть нарукавные желтые знаки.

Это было для них, говорили, началом конца.  
И в назначенный день, в тот, что ныне становится сказкой,  
На прогулку по городу вышел король из дворца  
И неспешно пошел с нарукавною желтой повязкой.

Копенгагенцы приняли этот безмолвный сигнал.  
Сам начальник гестапо гонял неприметный «фольксваген»  
По Торговой, к вокзалу, за ратушу, в порт, на канал —

С нарукавной повязкой ходил уже весь Копенгаген!..

Может, было такое, а может быть, вовсе и нет,  
Но легенду об этом я вам рассказал не напрасно,  
Ибо светится в ней золотой андерсеновский свет,  
И в двадцатом столетье она, как надежда, прекрасна.

Рифмы вроде Копенгаген/«фольксваген», — что тут скажешь? — было бы и неплохо (другой-то рифмы на датскую столицу в русском языке нет), если б не глупые кавычки, только в языке москвитов возможные; как дикую пошлость отмечаю это «в двадцатом столетье» вместо «в двадцатом столетии» (но это они все там помешались на неумении склонять существительные на -ье).

По исполнению это стихотворение — далеко не шедевр, но за то по наполнению... Я никогда не плакал над стихами Пушкина, Мицкевича, Мандельштама, Пастернака, а над этими — плачу. Не знаю, откуда Лифшиц в 1967 году взял эту потрясающую легенду. Знаю, что потом её развернул в свою прозу, тоже прекрасную, Борис Хазанов. Смысл тут прост, проще некуда: советские евреи в послевоенные годы верили, что у цивилизованных народов (они тогда и русских к ним относили) возможно цивилизованное отношение к евреям. Как всё это далеко! Как невозвратно!

24.06.26

### «НА МОСТУ, ПРОДУВАЕМОМ ВЕТРОМ...»

Не люблю анжамбеманов. И слова *анжамбеман* не люблю, оно какое-то мёртвое в русском языке, и действия, им подразумеваемого, не люблю: недосказанности в стихе, переноса смысла из стиха в следующий стих. Стих должен быть капсулой смысла. Смысл, во всяком случае, его центр тяжести, должен укладываться в стихотворную строку, не перехлёстывать через край. Совсем неплохо, когда каждый стих представляет собою законченное стихотворение... И поэтов я не люблю, этим перехлёстом злоупотребляющих, включая Бродского. Буду называть этот нелюбимый мною приём перескоком. Сколько помню, так его ещё Радищев называл.

При всём том, сгусток смысла в одном таком перескоке в одном ран-

нем стихотворении Валерия Скобло (года этак 1971-го) кажется мне феноменальным достижением поэзии, притом не только русской, а мировой. Достижением поэтическим и этическим, — поэзия ведь от этики неотрывна, она — сама меристема этики. (Что смысл сказанного поэтом уникален, за это я головой ручаюсь). Человек мало меняется с ходом столетий, его этические представления развиваются черепашным шагом, но этот перескок Валерия Скобло по его этическому наполнению — шаг семимильный. Между тем сказал поэт вещь на первый взгляд самую простую:

Нелюбимая, ты мне дороже  
Жизни...

Утверждаю: даже в XIX веке никто такого произнести не мог, не говорю уж про светский и галантный XVIII. Не то что произнести, а вообразить. Там, в XIX веке, этической вершиной была Юлия д'Этанж (Новая Элоиза) и навеянная ею пушкинская Татьяна с её клятвой: «Но я другому отдана / И буду век ему верна», — а формулы Валерия Скобло не понял бы решительно никто, даже Боратынский.

Покритикую эти полтора стиха с точки зрения собственно поэзии. Истинный поэт изображает звуком (звучанием слов) не в меньшей мере чем смыслом слов. Корявый звук может убить значительный смысл. Говоря об этом этическом открытии Скобло, приходится признать, что звук тут далеко не безупречен: мешают два Ж в близком соседстве, эти ЖЕ-ЖИ в «дороже жизни». Но смысл сказанного здесь таков, что о звуке невольно забываешь.

Я ничего не знаю о частной жизни Валерия Скобло, но этическую ситуацию из произнесённых им пяти слов (весьма вероятно, произнесённых им не о себе) реконструирую без труда. Эти поразительные слова обращены к жене, а лирический герой (подчёркиваю: не автор), можно допустить, любит другую. Перед нами лирический треугольник, но далеко не классический, не традиционный.

Лирический герой (продолжаю фантазировать) влюблён в другую, другая отвечает ему взаимностью, соединиться с нею для него и для неё — величайшее счастье, но есть барьер, который он переступить не может. С «нелюбимой» его связывает нечто большее, чем любовь как душевное и физиологическое влечение. Его супружество возникло не на пустом ме-

сте, а из такого вот взаимного влечения, в надлежащем возрасте пережитого молодыми супругами как событие всемирное, космическое. До супружества молодой человек под родительским кровом понимает личное счастье как цель своей жизни и с полным правом служит этому счастью. Супружество, возникшее из подлинной любви, есть социализация молодого человека, меняющая картину мира. Правильно понятый медовый месяц и первые годы супружества есть школа уступок. Двое влюблённых начинают создавать храм, фундамент которого — радостная и жертвенная уступка каждого в пользу другого. Если он и она не научились наслаждаться, уступая любимому, супружеству срок недолог цена. Это не супружество, а роман с общей кухней.

Но любовь любовью, а супружество — хозяйственная сделка, возлагающая на обе стороны громадную ответственность перед собою и другими, включая будущих детей. Это хозяйственное партнёрство при правильном, только что обрисованном мною к нему отношении превращает партнёров в пару нерасторжимую, почти в одно существо. Лирический герой стихотворения Скобло знает: не то что не этично, а физически невозможно построить свою новое счастье на несчастьи той, кто годами, изо дня в день, делил с ним горести и радости нашей теперешней обыденной, посконной, тягловой, изматывающей жизни, неведомой артикулированным людям прежних веков, невообразимой для них.

Привожу целиком стихотворения Валерия Скобло, из которого мною вырваны полтора стиха. Не могу себе вообразить настоящей антологии русской поэзии XX века без этого стихотворения.

На мосту, продуваемом ветром,  
Постою и помедлю с ответом.  
Ветер нас обжигает до слез.  
На снежинки, летящие косо,  
Смотришь, не повторяя вопроса,  
Позабыла уже про вопрос.

Нелюбимая, ты мне дороже  
Жизни, страшно и больно до дрожи  
За тебя, и никак не помочь.  
Как вибрирует мост под ногами!  
Вместе с ним мы вибрируем сами,

И ознобом охвачена ночь.

На ветру, над застывшей Невою  
Мы молчим и не знаем с тобою,  
Как еще наша жизнь повернет.  
Мы молчим. Где-то за облаками  
Над рекою, мостом и над нами  
Еле слышно гудит самолет.

Тому, кто скажет мне, что по исполнению эти стихи — едва ли заоблачны, я отвечу: дайте срок — и вы перемените своё мнение. Настоящие произведения живут долго и, подобно живому существу, проходят, прежде, чем встать во весь рост, безвестность молодости. Когда до сознания читателей дойдут этические открытия Валерия Скобло (к этому стихотворению не сводящиеся); когда его имя будет разом вызывать в сознании читателя созданный поэтом мир, — тогда выступит на первый план и то, что именно такая, неброская и аскетическая стихотворная техника лучше всего служит пониманию ошеломляющих движений человеческой души.

1-2.07.26



Добрые люди говорят мне: цинизм был в наше время, среди людей подлинных, — прикровенной сентиментальностью. Нельзя было в наше время признать: я — сентиментален. Это было равнозначно тому, чтобы сказать: я — пошл. Вот и циничничали под сенью Хамингвэя (да-да, именно так надо писать, не по-вашему).

Прошли годы, потом десятилетия, и — циничинствовать, в любом контексте, стало пошлостью. Сентиментальность, честное следование живому человеческому чувству, перевесило и навсегда отменило моду, позёрство и фразёрство.

2.07.26



Жил да был профессор Лев Лосев, «поэт и филолог», — примем это

определение, проглотим его, хотя рядом со словом *поэт* неприлично ставить слово, обозначающее профессию; не скажешь ведь про Лермонтова: поэт и кавалерист. У Льва Лосева имеется стихотворение под названием *Тринадцать русских*, которое многим нравится. Оно — о тринадцати будто бы русских буквах русского алфавита. Из них, мне кажется, не все русские.

Берём первые две буквы Лосева: «жуковатые Ж, Х». Литера Х — совершенно латинская, но, понятно, в разных языках она произносится по своему: например, по-французски как С или никак, по-русски как ха. Ничего русского в ней нет. Никакого русского духу. Русью не пахнет.

С буквой Ж тоже не всё чисто. Кирилл и Мефодий ввели её в болгарский (он же старо-славянский) алфавит как усиленную проекцию буквы Ш, а эта Ш — родом из иврита, это еврейская буква шин (שׁ) в чистом виде. Не вполне оригинальна буква Ж в русском алфавите, отрицать это бессмысленно.

Из тринадцати русских осталось одиннадцать.

Дальше у Лосева идут буквы Ц, Ч, Ш, Щ. Тут — оплошность полная, стопроцентная, да, пожалуй, и постыдная. В Соединённых Штатах, в отличие от Совдепии (Лосев в США профессорствовал), не бросали в застенки людей, заглянувших в иврит. Вокруг Лосева, в Америке и в других странах (он состоял в переписке со многими, включая Израиль), было полно людей, знавших иврит. Но почтенный профессор так и не узнал, что русские Ц и Ч суть слегка переименованное еврейское цади (צ).

Про букву Ш уже сказано. Её и переименовывать не пришлось, она — еврейское шин (שׁ), двадцать первая буква еврейского алфавита, а будто бы русская буква Щ (как и буква Ж) — прямая её производная. Ура! Русских стало ещё меньше. Девять из тринадцати осталось.

Берём теперь буквы, изображающие у Лосева русские дифтонги: Е, Ё, Ю, Я. О первых двух — говорить нечего: по происхождению и начертанию это буквы латинские (двоеточие над Е — умлауд — есть всего лишь сообщение, что звук этот не редуцирован), а по произношению — да, они только по-русски дифтонги, — но ведь речь-то о буквах!

С буквами Ю и Я сложнее; тут Русью пахнет. Вторую прямо признаём русской, хотя она — всё же лишь слегка деформированная буква А. Признаем русской и вторую, хотя все видят, что это соединение двух латинских букв Ю.

Остаются ещё три: *Ѣ, Ъ, Ь*. Первая буква никак не русская: она введена в болгарский язык Кириллом и Мефодием как очень кратное *О* или *У*. Буква *Ъ* — на первый взгляд самая что ни на есть русская, её иностранец и произнести не может; но это — по звучанию, а по написанию она — *ОІ*, стандартное окончание именительного падежа множественного числа существительных мужского рода второго склонения (на -*ОΣ*) как в древнегреческом, так и в византийском (не могу удержаться и не вспомнить любимое мною византийское слово *Νεμίτσοι*... означающее, вы не поверите, — немцы). Но — уступим Лосеву и тут, признаем и букву *Ъ* русской, а насчёт еря — нет, не уступим.

Остаётся мягкий знак. Уж он-то русский, ведь так? Но и он — всего лишь *І(і)* с хвостиком, загнутым для краткости. Из тринадцати осталась тройка. И какой же русский не любит быстрой езды?

Ещё две очень русские на вид буквы в стихотворение Лосева не попали: *Б* и *Г*. Обе — тоже под подозрением по пятому пункту: обе, пусть с некоторой натяжкой, кажутся перевёрнутыми по горизонтали на 180 градусов ивритскими буквами бэт (*ב*) и гимель (*ג*)... хотя и то можно сказать, что первая — вариант латинской буквы *B*, а вторая — вариант греческой буквы гамма (*Γ, γ*).

Подведём итог. Истинные русские, как обычно и бывает в жизни, при ближайшем рассмотрении оказываются в большинстве своём евреями, а русских от сохи среди истинных русских — с гулькиным носом, да и те, на поверку, латинская ересь; русские петровского разлива.

14.07.26